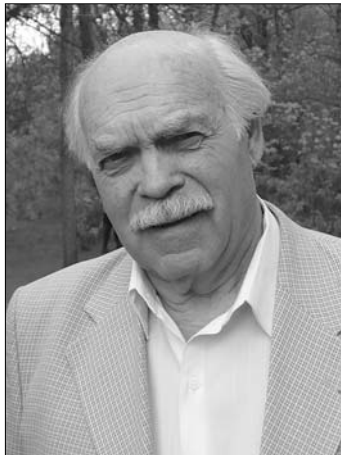


ЮРИЙ СЕМЁНОВ



ПУЛЯ КАСКУ ПРОБИВАТ...

РАССКАЗ

Два бойца стояли рядом в неглубоком мокром окопчике и, припав грудью к свежему брустверу, вприщур глядели туда, где был враг. А там, похоже, творилось светопреставление: весь бугор, который капитан, ротный командир, называл высотой, — сплошь дым, да пыль, да ошмётки земли. И гром оттуда, хоть тут уши затыкай.

— Прыщ она по сравнению с Жигулями, — ворчал старший, — а огрызатца, что та сучка от кобелей, прости, Господи...

— Ничо, дядя Федя! Пушкари её с грязью смешают — атаковать будет некого.

— Атаковать завсегда есть кого. В германску долбили немца не хуже, а как “Уря!”, так он тебя из пулемёта тово... Поливат. Меня самого продырявил.

— А чего ж тебя, раненого, снова на фронт?

Не враз ответил Фёдор Тимофеевич, подумал, хотя времени для думок оставалось с гулькин нос. Он так считал. Но ещё считал, что на серьёзный вопрос нужен серьёзный ответ. Поскрёб серую щетину на впалой щеке, примерился взглядом к мальчишке в военном ватнике.

— Так то когда было! Не инвалид, ежли литовкой день до ночи могу махать. И с трёхлинейкой в штыковую-то учён... А что старого да малого на

СЕМЁНОВ Юрий Михайлович родился в 1929 году в Узбекистане. Детство прошло на Кубани. Окончил Краснодарскую спецшколу ВВС № 12, Серпуховское военное училище, Ленинградский военный институт ФКиС. Служил в авиационных частях, публиковался в СМИ. Победитель конкурсов военной прозы “Твои, Россия, Сыновья” (2010, Москва), дипломант Международных конкурсов им. Твардовского (2010, Москва) и “Согласование времён” (2011, Франкфурт-на-Майне). Живёт в Сызрани.

фронт — тож понять надоть. Четвёртый год друг друга убивам, за что-пóч-то — не понять.

— Мы — за Родину!

— И за Сталина. Замполита наслушался. Про панов, которы дерутся, слышал? Все они чужими руками воевать горазды. А мы кого убивам? Тех, кто землю холит да народ кормит. Сиротой её, матушку, делам. Вот и получилось, что некому стало Родину спасать от Гитлера, окромя нас с тобой. Ты вот за четыре года из мальчонки в парни вышел. Самый раз за девками тово... Ухажорить.

— Поухажорил: дроля осталась.

Крякнул старый солдат, раздумчиво поковырял глинистую землю на бруствере, глянул туда, где всё ревелло и дыбилось. Сказал, не поворачивая головы:

— Ага, прибрала к рукам тебя, сосунка, вдовая молодка. Самогоном напоила да в постель уложила. Рядом с собой, горячей. Ты и тово...

— Люблю я её, а она за этого...

— Не грехи: он уже голову сложил. А ты когда её полюбить-то успел, до постели или опосля?

— Какая разница?

— Без разницы ничего не бывает: ежли до, то по любви, а ежли опосля, то по совести...

— Ротный обратно идёт... Ты каску-то надень: приказ был. Строжать будет.

— А и пусть. В шапке теплей...

Капитан тоже давно не брит, и лицо то ли голодное, то ли командир не спал давно. Каска на затылке, мокрый чуб из-под неё, как обсосанный. Губы до крови обветрены, но шевелятся:

— Приготовиться к атаке. Мой сигнал: “За Родину, за Сталина!” Вот старая гвардия! Команды не слышал? Надеть каски! Война кончается, а ты голый лоб фрицу подставляешь.

— Так пуля каску тово... Пробиват...

— У тебя, отец, какая задача бойца? Фашиста убить, а самому живым остаться.

— Ну?

— Не “ну”, а “Так точно!” В германскую за нуканье от офицера по морде бы.

— Так точно, ваше... Тьфу! Согрехишь тут с вами.

— Вот и надень каску: всё меньше риску. Ждать сигнала!

И пошёл, пригнувшись, к своему командному окопчику, который, Бог весть, чем отличался от солдатского, но — командный. Посмотрел ему вслед Фёдор Тимофеевич и вздохнул, как бы о чём-то сожалееючи:

— Тогда, Вань, офицеры были куда как благородные — в окопах во весь рост ходили. Правда, и окопы поглубже рыли, не ленились.

— Дядь Федя, усостесь: всю ночь лопатили, до самой этой артподготовки.

— Да мелкогато получилось, а земля, известно, надёжней брони защищат.

— Ага, и нас, и фашиста.

— Земля, Вань, она ко всем людям добрая: и защитит, и накормит, и примет.

— Ага, накормит. В отличие от нашего старшины: по сто грамм выдал, а закусить? Кишки к позвоночнику приросли...

— Я третью войну воюю, а ты нешто в первую атаку тово... Стратегии войны не постигнул ишшо. Это старшина не из жадности, а для того, чтобы тебе нечего было со страху в штаны ложить, коль желудок пустой. А ты не обидься, что я так говорю. Это потому, что я в первую атаку тож вот так — и руки дрожат, и в штаны понос, того и гляди, не удержать. А как встали да пошли — всё куда-то делось. Потом бывалые научили: перед атакой думай не об атаке, а вот так, как мы сейчас. К тому же с голодухи да под градусом злее будешь, когда капитан “За Родину!” прокукарекат.

— Нечего меня злить. Похоронок в деревню сколь пришло? Матеря перед иконами — “Спаси и сохрани!”, а девки возле клуба что поют? “Вымоет старательно дождь их кости белые и засыплет медленно мать сыра земля. Там дрались юные”...

— Хватит. Распелся. Накличешь не то. Юные... Да, Ванятка, сколь их по Расее, девок-то, незамужними останется...

— Вот только за это фашистскую гадину...

— Ну, заладил: фашист да фашист. Эт ты про того, что на высотке окопался? Он такой же фашист, как я коммунист. Я землю пахал, и он землю пахал. Кажный — свою...

— Так что теперь — брататься с ним, а не убивать?

— Не убивать нельзя: не ты его, так он тебя. Закон войны. Что же касемо брататься, то я сам братался. В германску. А что? Я пахарь, он — арбайт, но тож кормилец. — Зачерпнул горстью с бруствера, пересыпал из ладони в ладонь. — Ну, и земля у их! Липуча. Аккурат кирпичи выжигать. А ить что-то и на ей родится.

— Наша волжская щёбёнка тоже родит, не обижает.

— И на этой вырастет, ежели уход будет. А кто её холить будет? У нас остались девка на трахтуре да баба на канбайне. Знать, и у них так-то.

— Вот и трудился бы фриц на своей, а не чужую воевал.

— Ишь, ты... У них, чай, свои военкоматы есть. Кумекай.

Фёдор Тимофеевич огляделся по сторонам, словно испугался чего:

— Никак оглох... — Поковырял в ухе. — Комар тамотко зудит.

Иван тоже огляделся.

— Какой комар? Артподготовка кончилась! Надевай каску-то.

— Ага! Я и в суконной папахе германца воевал, и в будёновке. И в этом малахае тово...

— Слушай мою команду! — донеслось от командного окопчика. — За Родину! За Сталина! Ура-а!

Молодой схватил винтовку на бруствере, да старый удержал его за ворот:

— Ты лоб-то перекрести, прежде чем того... Впервой же ж.

— Я — комсомолец!

— Да хоть партеец, а бережёного Бог бережёт, — и сам перекрестил безбожника. — Вот теперь “Уря!”

Капитан впереди размахивал наганом, оглядывался и что-то орал, раскрывая чёрный рот. А про что орал, не поймёшь, потому что все орали. Но бежали не шибко. То ли оттого, что мокрая весенняя земля быстро наматалась на ботинки, вот ноги и отяжелели. То ли оттого, что душу всё-таки маяла опаска: что там, на бугре осталось после пушкарей? А вдруг осталось? Иван дышал рядом, спрашивал:

— Что-то, дядь Федя, фашистов не видно, неужто всех перебили?

— Всех никогда не перебьют. Просто германец не любит штыковую, особливо русску. Пулю предпочитат.

— Дуру?

— Каку “дуру”? Нас с тобой ближе подпускат.

В этот миг над полем сквозь общее “Ура!” прорезался истошный крик капитана:

— Ложись!!

— Чего он? — остановился Иван, растерянно озираясь по сторонам.

— Пулемёт, не слышь, што ли? Да не один. Падай! Чего стоишь, как напоказ?

Иван плюхнулся в мокрую податливую траву, каска на глаза съехала.

— Вот тебе и перебили всех, — ворчал Фёдор Тимофеевич, тщетно стараясь разглядеть за торчащими перед глазами мёртвыми прошлогодними стеблями, что там, на высотке этой. — Слыхать, германец танки закопал. Вот их антилерия и не того... Да вижу я одного! Башня наружи, а сам в земле, — приподнялся он на локте. — Ты гля: наши ракету туда кинули, аккурат куда надоть. Ну, вот, каской глаза закрыл... Може, и правильно. Крупным калибром бьёт, с расстановкой, не шмайсер. Тот — как сердитая баба словами тархтит. Ну, пушкари, ну, робяты!..

И, как по его команде, над высоткой снова вздыбилась земля, снова там загрохотало, и старый солдат снова влип в землю. На миг, потому как знал: кому до стрельбы, когда тебя самого снарядами рвут? Успокоился. Пушкари, как пахари, пашут, а тебе пока вот делать нечего — жди. Настоящему труженику ждать — тоска одна. Но сейчас ему почему-то не тосковалось. Лежал бы и лежал пузом на земле, хоть и на чужой. Да ватник насквозь промокнет, подумалось, может, некстати, однако перекатился на спину, стал в небо смотреть.

— Вань, а Вань, небо-то и у германца, как наше. Поди-ка вот, земля разна, а небо одинаково. Почему, а, Вань? Потому как земля — поле человеческо, а небо — поле Богово. Человеков много, а он один: не с кем ему небо рвать. И оно, в отличие от земли, завсегда мирно. Гром... Гром — голос Господень. Он и артиллерию того...

Артиллерия внезапно смолкла. И как будто опустело всё вокруг. Фёдор Тимофеевич снова привстал на локоть.

— Вань, а Вань... Танка-то нету — земли куча... Счас ротный капитан...

Ротный стоял почти рядом, с наганом в поднятой руке и с большим раскрытым ртом.

— За Родину! За Сталина!

— Ванька! Сталин — хрен с им, нам — за Родину. С Богом! — Встал он, взял винтовку наперевес. А Иван не встал. Как лежал, так и лежит, закрывшись каской. А в каске-то маленькая такая, как гвоздём проткнутая, дырочка в том самом месте, где на плакатах звезда нарисована. Холодная волна от головы до пяток прокатилась по телу, что-то живое там, внутри, ушипнуло сердце. Мягко, с оттягом. И повисло на нём.

— Ванька! Ва-аньк... Ты чо? — Опустился перед ним на колени, потрогал за плечо.

— Вставай Христа ради, Ванюш...

— Рядовой Саврасов! Команда — в атаку! Чего расселся?

Фёдор Тимофеевич поднял голову. Над ним стоял капитан — лицо белое, глаза белые, губы — в сторону, в руке наган скачет. Не в себе человек.

— Так Ванька же...

— Какой Ванька? В атаку! Слушай, батя, если сию секунду не встанешь, я тебя вот тут же расстреляю. Вста-ать!

Встал Фёдор Тимофеевич, встал. Командир, приподняв пробитую каску, глянул под неё, потом, метнув взгляд на старого солдата, запихнул наган за пояс и взял винтовку рядового Ивана Саврасова.

— Вот так, дядя Федя. Разрешаю “Ура” не кричать, но в атаку — за мной!.. А Ванька твой, авось, жив ещё. На то санбат есть. За мной! — и побежал догонять свою роту, а Тимофеич смотрел на вихляющий зад ротного, и сам себе напоминал: “У живого солдата командир оружие не отбирает”.

— Прости Христа ради, Ванюша: я того... Не уберёт, значит...

Снял он шапку, перекрестился, чуть подумал и осенил крестом Ванюшку.

— Рядовой Саврасов! Твою...

И пошёл русский хлебобоб по чужой земле, стиснув зубы и с винтовкой наперевес. Лишь однажды оглянулся, да за чёрной чужой мёртвой травой ничего уже не увидел.